

ВОПРОСЫ литературы

март — апрель

2020

27 / Поэтика мировой литературы

89 / Лица современной литературы: Тимур Кибиров,
Амарсана Улзытуев, Вечеслав Казакевич

167 / Пруст в кадре. Фильм как роман

196 / Всемирная отзывчивость Тургенева

231 / Круг чтения молодого
интеллектуала 1810-х годов

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

/ К 75-летию Победы

- 13 **Ю. Волохова.** ЗАБЫТОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
из освобожденной ВАРШАВЫ. Очерк В. Гроссмана
«Памяти восстания в Варшавском гетто»

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЭТИКА

/ Поэтика мировой литературы

- 27 **А. ЖЕРЕБИН.** МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ
УТОПИЯ И НАУЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
- 44 **Е. ДМИТРИЕВА.** ОБ ИСТОКАХ ИДЕИ КОСМОПОЛИТИЗМА:
РУССКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД
- 70 **О. Половинкина.** «ШАРАВАДЖИ» У. ТЕМПЛА И ПОЭТИКА
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЛИТЕРАТУРНОЕ СЕГОДНЯ

/ Лица современной литературы

- 89 **В. ЗУСЕВА-ОЗКАН.** ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ. Тимур Кибиров
- 115 **А. УВИЦКИЙ.** БОЛЬШОЕ КОЧЕВЬЕ. Амарсана Узылтуев
- 131 **Ю. ШЕСТАКОВА.** ОПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ «ПРОЗЫ ПОЭТА».
Вечеслав Казакевич

/ Современная антология

- 143 **Э. ШАФРАНСКАЯ.** ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА САНДЖАРА ЯНЫШЕВА.
Колониальный и постколониальный палимпсест

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 157 **Л. ХОПКИНС.** НОВАТОРСТВО И ЭКСПЕРИМЕНТ
в «ГЕРЦОГИНЕ МАЛЬФИ» ДЖОНА УЭБСТЕРА.
Перевод с английского Н. Колтаевской

СИНТЕЗ ИСКУССТВ

- 167 **С. Фокин.** МАРСЕЛЬ ПРУСТ В КАДРЕ. Фильм как роман.
Роман как перевод

ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА

- 183 **Чэн Дяньмэй.** Переводы и исследования Довлатова
в Китае

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- 196 **Г. РЕБЕЛЬ.** ВСЕМИРНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ ТУРГЕНЕВА.
По материалам литературно-эпистолярной антологии
«С Тургеневым во Франции»

ПУБЛИКАЦИИ. ВОСПОМИНАНИЯ. СООБЩЕНИЯ

- 231 **Е. АБДУЛЛАЕВ.** Лицейский «Словарь» Кюхельбекера.
Круг чтения молодого интеллектуала 1810-х годов

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

- 278 И. Л. Финкельштейн. Хемингуэй-романист. Годы 20-е и 30-е
(**А. ЛОБКОВ**)
- 284 H  l  ne Menegaldo. Diana Nikiforoff. De la Russie en r  volution
   la Cit   interdite (**Ю. МАТВЕЕВА**)
- 290 Н. Малыгина. Андрей Платонов и литературная Москва:
А. К. Воронский, А. М. Горький, Б. А. Пильняк, Б. Л. Пастернак,
Артем Веселый, С. Ф. Буданцев, В. С. Гроссман (**Е. ШАРЫГИНА**
(**НОВИКОВА**), **В. НОВИКОВ**)
- 294 Ю. В. Доманский. Формульная поэтика Егора Летова
(**А. БОКАРЕВ**)

ВОПЛИ - центр

культурно-образовательные проекты
журнала «ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ»

**ПИШЕМ
НА
КРЫШЕ**

Первая школа

писательского мастерства

от толстого журнала

№1

журнал критики и литературоведения

**ВОПРОСЫ
ЛИТЕРАТУРЫ**

январь — февраль

2019

5612-2100 ISSN

13 / Вечные темы Трифонова и Маканина

манитарная угроза

DOI: 10.31425/0042-8795-2020-2-13-26

ЗАБЫТОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗ ОСВОБОЖДЕННОЙ ВАРШАВЫ

Очерк В. Гроссмана «Памяти восстания
в Варшавском гетто»

Юлия Альбертовна Волохова

филолог, аспирант

Российский государственный гуманитарный университет
(125993, Российская Федерация, г. Москва, Миусская пл., д. 6;
email: carica77@yandex.ru)

Аннотация. Впервые публикуется очерк Василия Гроссмана «Памяти восстания в Варшавском гетто» (1948). Во вступительной статье излагается история забвения и обретения текста, анализируются его художественные особенности. Также публикуются и комментируются ответы В. Гроссмана на анкету, направленную в 1946 году, накануне первой годовщины Дня Победы, Еврейским антифашистским комитетом ряду деятелей культуры.

Ключевые слова: В. Гроссман, Еврейский антифашистский комитет (ЕАК), Варшавское гетто, восстание в Варшавском гетто, освобождение Варшавы, цензура.

Статья поступила 31.08.2019.

© 2020, Ю.А. Волохова

DOI: 10.31425/0042-8795-2020-2-13-26

A FORGOTTEN TESTIMONY FROM THE LIBERATED WARSAW

Vasily Grossman on the Warsaw Ghetto Uprising

YULIA A. VOLOKHOVA

philologist, post-graduate student

Russian State University for the Humanities

(6 Miusskaya Sq., Moscow, 125993, Russian Federation;

email: carica77@yandex.ru)

Abstract: Prefacing the first ever publication of V. Grossman's essay *In memory of the Warsaw Ghetto Uprising* [*Pamyati vosstaniya v Varshavskom getto*] (1948) in the Russian language, the article recollects the circumstances and reasons for the piece to have been kept from publication and defines its relevance in the author's legacy. The work is analyzed in the context of the problems of a literary testimony. The researcher points out that Grossman wrote the story using a special writing strategy, where numerous meanings incompatible with official Soviet culture are incorporated by means of an uncontrollable symbolic subtext, decipherable with certain 'keys' created throughout the narrative. In this case, such a 'key' is provided by the character of the stocking knitter of Łódź. The story and the editor's corrections are reconstructed from an archived, typed manuscript. Also included in the publication and supplied with comments are V. Grossman's answers to the questionnaire distributed by the Jewish Anti-Fascist Committee to several cultural workers in 1946 ahead of the first Victory Day anniversary.

Keywords: V. Grossman, the Jewish Anti-Fascist Committee (JAC), the Warsaw Ghetto, the Warsaw Ghetto Uprising, the liberation of Warsaw, censorship.

The article was received on 31 Aug. 2019.

© 2020, Y. A. Volokhova

Небольшой документальный и вместе с тем глубоко символический очерк Василия Гроссмана под названием «Памяти восстания в Варшавском гетто» был обнаружен в Государственном архиве Российской Федерации во время работы с материалами фонда Еврейского антифашистского комитета и газеты «Эйникайт». Написанный в апреле 1948 года к пятой годовщине начала восстания в Варшавском гетто, он пролежал под спудом более 70 лет, разделив судьбу многих свидетельств о Катастрофе.

Мы знаем, что в качестве военного корреспондента вместе с советскими войсками Гроссман в числе первых ступил на территории освобожденных городов и сел восточной Европы, где осуществлялись акции массового уничтожения еврейского населения, на землю Трешлинка и Майданека. Он лично говорил со свидетелями и выжившими, от них же узнал о судьбе близких, оставшихся в Бердичеве, и прежде всего о гибели собственной матери, расстрелянной под Романовкой 15 сентября 1941 года. Во время войны и после ее завершения, в период работы над «Черной книгой», он имел доступ к уникальным материалам и документам. Некоторые до сих пор не известны широкому кругу читателей в России: так, в архиве писателя сохранились воспоминания «Год в Трешлинке»¹ Янкеля Верника — участника лагерного восстания, чудом спасшегося, переправившегося в Варшаву и примкнувшего там к повстанцам; другие были опубликованы только спустя несколько десятилетий после их создания, подобно очерку Юлиана Тувима «Мы, польские евреи», также ставшему откликом на восстание в Варшавском гетто, в годовщину которого — в апреле 1944-го — Тувим узнал о гибели матери.

Начиная с первых текстов о геноциде — рассказа «Старый учитель» (1943) и пьесы с одноименным названием, созданной на его основе в 1947 году, очерков «Украина без евреев» (1943), «Трешлинский ад» (1944) и «Убийство евреев в Бердичеве» (1944), — писатель решал труднейшую задачу: не только оставить документальное свидетельство о том, что он увидел и пережил, но и поведать о произошедшем от лица бесчисленного числа жертв, от лица еврейского народа и для всего человечества. Решением этой же задачи он занят и при создании очерка о Варшавском гетто.

1 См.: [Янкель]. Перевод с польского выполнен военным переводчиком лейтенантом Казачковым, он не литературный и имеет скорее осведомительный характер.

Размышляя о природе свидетельства, американский историк культуры Шошана Фелман приходит к выводу, что одно из основных его назначений — это выход за пределы изначальной изолированной позиции свидетеля, высказывание за других и для других. Говоря словами Эмануэля Левинаса, речь свидетеля по определению превосходит самого свидетеля, который является всего лишь посредником, средством осознания свидетельства и передачи того, что было сказано через него [Felman, Laub 1992: 3]. Так же мыслит и сам Гроссман, когда пишет 24 октября 1959 года своему другу Семену Липкину: «...судьба книги <...> от меня отделяется в эти дни. Она осуществит себя помимо меня, отдельно от меня, меня уже может не быть. А вот то, что связано было со мной и без меня не могло бы быть, именно теперь и кончается» [Липкин 1986: 55]. Мы знаем, что эти слова оказались пророческими: рукописи «Жизни и судьбы» были конфискованы КГБ в 1961 году, и в результате акт свидетельства был отсрочен почти на два десятилетия². Судьба других гроссмановских произведений, со страниц которых с нами говорят жертвы великих катастроф минувшего века: массового голода на Украине, сталинских репрессий, Второй мировой войны, Шоа, атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, — не менее трагична. Все они либо последовательно подвергались цензуре, либо вовсе не были опубликованы при жизни писателя.

Сами попытки Гроссмана говорить правду об исторических событиях были часто сопряжены с травматическим опытом. С конца 1946 года над писателем и членами его семьи нависает реальная угроза ареста. Сначала на волне общего ужесточения цензуры в области культуры резкой критике в печати подвергается его пьеса «Если верить пифагорейцам» (1946), а уже в следующем году из-за наличия «серьезных политических ошибок» нецелесообразным признано издание «Черной книги»³. Пьесу «Старый учитель», созданную специально для Московского государственного еврейского театра в конце 1947 года, Гроссман по требованиям цензуры перерабатывал в течение полутора лет⁴, однако она так никогда и не была ни опубликована, ни поставлена на сцене. Основной претендент на главную роль

3 См.: [Докладная... 1947].

4 Подробнее об истории прохождения пьесы «Старый учитель» см.: [Волохова 2019].

Соломон Михоэлс убит в январе 1948 года, в декабре арестован художественный руководитель ГОСЕТа Вениамин Зускин, а в 1949-м закрыт и сам театр. В общей сложности по делу Еврейского антифашистского комитета было репрессировано более ста человек.

«Столько я видел содранных кровавых овечьих шкур, отрубленных голов, распотрошенных барашков, что не дай бог стать овцой. Уж пожелай мне быть ишаком — его не едят, а только бьют, притом он упрям и может тянуть тяжело в гору — все это нужно русскому писателю» (цит. по: [Львов 2018]), — писал Гроссман 26 ноября 1961 года Е. Заболоцкой. С горькой иронией обыгрывая семантику жертвы, овце, невинному агнцу, безропотно принимающему смерть, автор противопоставляет упрямого ишака, образ которого более приземлен, но связан с мотивами тяжелого труда и сопротивления, актуальными для этики писателя.

В своем приближении к опыту Катастрофы Гроссман прошел по линии тоньше человеческого волоса и остановился в той зыбкой точке, в которой, будучи опален и заражен свидетельством, он не только не утратил дара речи, но и смог интуитивно найти язык, с помощью которого возможно осуществить прорыв из зоны молчания. Работая в условиях жесточайшей цензуры, Гроссман выработал особую стратегию письма, при которой многие чуждые для официальной советской культуры смыслы он инкорпорировал в свои произведения через неконтролируемый символический подтекст, доступ к которому читатель мог получить через «ключи», оставленные автором в ткани повествования. Так, в романах «За правое дело» и «Жизнь и судьба» один из таких «ключей» — фамилия главного героя, которая позволила Татьяне Деттмер, обратившись к материалам украинских архивов, установить, что прототипом Виктора Штрума был расстрелянный «враг народа», физик Лев Яковлевич Штрум [Деттмер 2018]. В очерке о Варшавском гетто такого рода «ключом» становится образ Лодзинского чулочника. Если для рядового советского читателя и цензора он типичный представитель трудового народа (жизнь его разбита войной, но он все же несет домой в виде пепла весть о победе и торжестве свободы), то для любого хасида, жителя Бердичева или хоть сколько-нибудь осведомленного европейского читателя это чулочник из знаменитой притчи о Баал Шем Тове, которую хорошо знали в то время и в Европе, и в Америке благодаря «Хасидским историям» Мартина Бубера [Бубер 2006:

86]. Примечательно, что во всей обширной иудейской традиции именно этот персонаж хасидской притчи, воплощающий в себе идеал невидимой святости и праведности, таинственно прорастающей из сердцевины будничной жизни, особенно близок взглядам позднего Гроссмана, наиболее последовательно изложенным в религиозно-философском манифесте писателя — записках Иконникова из «Жизни и судьбы».

«Когда чулочник ушел, Баал Шем сказал своим ученикам: “Сегодня вы лицезрели краеугольный камень, на котором держится весь Храм до прихода Мессии”» [Бубер 2006: 86] — такими словами заканчивается хасидская притча. Праведник из очерка Гроссмана, для которого память о жертвах есть величайшая святость, — краеугольный камень, на котором стоит жизнь всего человечества после Катастрофы. Лодзинский чулочник молчаливо напоминает о том, что невинная жертва служит основанием сегодняшней жизни и ее оправданием, а голос автора несет нам весть о свободе как о возможности даже перед лицом неминуемой смерти быть зависимым только от зова совести.

В хасидской притче чулочник не высказывает никаких богословских суждений, однако рабби показывает, что вся его жизнь — богословское высказывание. Так и чудом выживший Лодзинский чулочник в очерке не наделен прямой речью: высказыванием о произошедшем становится его молчаливая фигура, а акт свидетельства при этом осуществляется автором через постулирование молчания. Все тексты Гроссмана, рассказывающие о геноциде еврейского народа, в своих глубинных основаниях не являются реакцией на существующий дискурс: они рождаются как ответ на то, что Элвин Розенфельд называет «пустотой и молчанием навязанного отсутствия» [Rosenfeld 1980: 15], которые ставят под сомнение саму возможность дискурса. Вместе с тем они, как и, в сущности, вся литература о Катастрофе, утверждают, что человек после Шоа — это прежде всего *homo narrans*, пытающийся рассказывать о том, что не поддается рассказыванию [Encyclopedia... 2002: 9].

В своих очерках, в предисловии к «Черной книге», а также во многих поздних произведениях, включая рассказы, где Катастрофа ощущается как онтологическое состояние («Тиргартен», «Лось», «Авель», «Сикстинская мадонна» и др.), Гроссман фиксирует феномен расщепления фигуры свидетеля. В очерке «Памяти восстания в Варшавском гетто» она распадается на

канувших⁵, превращенных в пепел и навсегда умолкнувших повстанцев и обитателей Варшавского гетто, чудом выжившего, но погруженного в немоту чулочника и нарратора, который, находясь снаружи, но не будучи свидетелем ни в смысле *testis*, ни в смысле *superstes*⁶, запечатлевает исключительный масштаб разрушений, жестокости и не имеющего аналогов опыта страданий изнутри дискурсивного разрыва.

Очерк «Памяти восстания в Варшавском гетто» должен был быть переведен и опубликован за рубежом в изданиях, подведомственных ЕАК, однако публикация его так и не состоялась. В «паспорте» статьи сотрудник Совинформбюро простым карандашом указал причину отказа: «Статья порочна тем, что она витает где-то в пространстве, оторвана от конкретной борьбы с фашизмом, не мобилизует, не привлекает к борьбе с реакцией и фашизмом. Контр<ольный> ред<актор> не может соглас<иться> на отправку ее в зарубежную печать. 13.IV.48» [Гроссман 1948: л. 255]. Тем не менее в архиве сохранилось две машинописи с пометкой «срочно»: одна, представленная автором и за его подписью в конце, содержит правки корректора и редактора ЕАК Лейба (Льва) Гольдберга [Гроссман 1948: л. 259–261]; вторая — с немногочисленными и несущественными пометками сотрудника Совинформбюро [Гроссман 1948: л. 256–258]. Работая над реконструкцией текста, мы встали перед выбором: опубликовать очерк в том виде, в каком он был задуман автором, или сохранить также и правки, внесенные редактором, — и решили следовать последнему сценарию. В публикуемом очерке все изменения, внесенные Львом Гольдбергом, заключены в квадратные скобки, тогда как особые

-
- 5 «Мы, выжившие, составляем меньшинство, совсем ничтожную часть. Мы — это те, кто благодаря привилегированному положению, умению приспособливаться или везению не достиг дна. Потому что те, кто достиг, кто увидел Медузу Горгону, уже не вернулись, чтобы рассказать, или вернулись немymi; но это они, *Muselmanner*, доходяги, канувшие — подлинные свидетели, чьи показания должны были стать главными. Они — правило; мы — исключение» [Примо 2010: 68].
- 6 «В латыни для определения свидетеля существуют два слова. Первое — *testis*, от которого происходит итальянское слово *testimone*, с этимологической точки зрения оно обозначает того, кто выступает в роли третьей стороны (*terstis*) в процессе или в споре между двумя противниками. Второе слово — *superstes* — указывает на того, кто пережил нечто, прошел до самого конца какое-то событие и поэтому может свидетельствовать о нем» [Агамбен 2012: 15].

случаи оговариваются в примечаниях. Это позволяет проследить, как официальная советская цензура количественно незначительными правками делала из Гроссмана приемлемого советского писателя, лишала его тексты глубины и символической перспективы, пытаясь включить их в поле сложившихся к тому времени риторических паттернов военного очерка.

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

ПАМЯТИ ВОССТАНИЯ В ВАРШАВСКОМ ГЕТТО

В [славный] день освобождения столицы Польши Красной Армией я переправился из Праги в Варшаву.

По сравнению с трагическими развалинами Варшавы, оставшаяся на восточном берегу Вислы Прага, бывшая местом долгих, тяжелых боев, казалась благополучной, целой, почти не пострадавшей. Скелеты сгоревших варшавских домов, развалины, зияющие пустые глазницы окон, оборванные провода и вывороченные из земли стальные трамвайные рельсы, костры среди [некогда прекрасных] площадей и улиц, толпы не имеющих крова людей...

Казалось, в Варшаве истребительное бешенство германского фашизма достигло своего высшего предела. Но когда сквозь пролом в кирпичной стене, обвитой терновым венцом колючей и ржавой проволоки, я вошел в Варшавское гетто, мне открылась картина разрушения, поистине ни с чем не сравнимая. В гетто не было скелетов домов и зияющих пустых окон. В гетто не горели костры и бездомные не грели озябшие руки в их дымном пламени. Застывшее мертвое море раздробленного, искромсанного кирпича и тишина над пустым, холодным камнем. Глубоко под сотнями тонн смерзшегося камня лежали солдаты Варшавского гетто... Сорок дней¹ сотрясалась Варшава от грохота пушек, от взрывов авиационных бомб, от лязга танков и скрежета пулеметных очередей.

Мужчины, дети, женщины восставшего Варшавского гетто сорок дней сражались против регулярных пехотных дивизий немецко-фашистской армии; [боевые батальоны восставших,] поднимаясь в атаки, вклинивались в порядки фашистских войск, [прорывались из гетто в глубину варшавских улиц,] отбивали танковые натиски, выдерживали удары тяжелой бомбардиро-

вочной авиации. Сорок дней и сорок ночей продолжалась эта битва.

И чувство горя охватило меня. В тот миг, подумал я, когда кончается сражение, реальность его продолжает жить в сердцах бойцов, в их воспоминаниях, в их рассказах, они уносят в себе весь жар, все пламя, всю страсть отгремевшего боя, он продолжает жить в их памяти, в их глазах. Но ведь здесь, в гетто, нет оставшихся в живых — кто же расскажет² о великих днях страдания и славы?

Долго я ходил среди молчащих развалин, пока встретил человека. Маленький, узкоплечий, с запавшими, заросшими темной щетиной щеками, в длинном, превращенном в лохмотья балахоне, держал он в руке детскую корзиночку из цветной соломки, и большие, темно-карие глаза его были полны драгоценной влагой печали и мысли. Он уходил из Варшавы в сторону Лодзи и зашел в гетто, чтобы унести с собой на родину горсть серого легкого пепла, собранного им под стеной, у которой эсесовцы сжигали тела повстанцев.

Я долго смотрел ему вслед — маленькая чаплиновская³ фигурка одиноко двигалась в зимнем тумане, среди молчащего камня, и детская круглая корзиночка тихонько покачивалась в такт движению. Видимо, этот маленький, чудом уцелевший человек, имени которого я не помню, и был первым пришедшим, после освобождения Варшавы, на развалины гетто, чтобы поклониться памяти погибших солдат восстания.

И ныне, в пятилетнюю⁴ годовщину восстания, маленькая, оборванная фигурка Лодзинского чулочника⁵, уносящего в соломённой корзинке горсть пепла, представляется мне символом живой народной памяти, на веки веков вписавшей, принявшей в себя самую горькую и самую гордую страницу еврейской истории.

Но сражению в Варшавском гетто суждено стать не только страницей истории еврейского народа. Много было сражений, потрясших людскую память огромностью масштабов, сложностью военных замыслов, блеском осуществления этих замыслов, сражений, которыми гордятся нации, государства, военные историки, армии.

Но есть битвы значимей Канн и Трои, Трафальгар и Аустерлица, Тевтобургской и Верденской. Это битвы бесконечно большего значения, битвы за свободу человека — [такие] битвы, [гордость ими] — достояние не отдельного государства и народа, они — достояние [трудового] человечества. Их урок вечен.

[Это битва Спартака, битва Парижской коммуны, это Сталинградская битва⁶.] В ряд [таких] сражений за свободу и достоинство человека станет битва Варшавского гетто.

Солдаты Варшавского гетто! Вы стоите в строю бессмертных!
Вы бессмертны, как бессмертна [народная] свобода!

- 1 Л. Гольдберг повсеместно исправляет «сорок дней» на «сорок два дня», вероятно пытаясь придать очерку большую историческую достоверность. Гроссман же использует устойчивую для библейского текста формулу «сорок дней и сорок ночей». Например: «И продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею» (Быт. 7:17); «Моисей вступил в средину облака и взошел на гору; и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей» (Исх. 24:18); «И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива» (3 Цар. 19:8). В данном случае число сорок скорее выражает идею полноты испытания, его завершенности.
- 2 В авторской версии: «...кто сохранит память о великих днях страдания и славы?» Редактором или самим автором в данном фрагменте была произведена стилистическая правка.
- 3 «Чаплиновская» отсутствует после редактуры.
- 4 После редактуры в «пятилетнюю» зачеркнуто.
- 5 «Лодзинский чулочник» написано автором с прописной буквы, и именно в таком виде эта фраза переходит в версию очерка, переданную на рассмотрение в Совинформбюро. Вероятно, редактор не уловил за этим какого-либо подтекста.
- 6 Данная фраза присутствует в изначальной авторской машинописи, однако была вычеркнута в ней редактором или самим писателем и не вошла в версию, направленную в Совинформбюро. Возможно, эта фраза отражает авторскую работу по самоцензурированию.

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

АНКЕТА¹

1. [Как вы встретили день Победы?]

День Победы я встретил в Берлине, я находился там в качестве военного корреспондента газеты «Красная Звезда». В день капитуляции Берлина я вошел в кабинет Гитлера в Новой Имперской канцелярии и увидел рухнувший потолок, разбросанные книги и на полу огромный, смятый, сплюснутый глобус, словно символизирующий крах гитлеровской идеи мирового господства. Поистине это был великий день. История человечества знает не так уж много подобных дней².

2. [Что вам дал прошедший год?]

Весь этот год прошел в работе над книгой. Работал я много, и работа моя, хотя не закончена, значительно продвинулась. Я так много ездил за годы войны, что с величайшим удовольствием весь этот год безвыездно пробыл в Москве³.

3. Какое событие 1945 года считаю я наиболее значительным?

Бесспорно победу демократических государств над силами мировой агрессии, над фашистскими бандитами, залившими невинной кровью мир.

4. Мои дальнейшие планы и пожелания?

Мы живем в эпоху, когда личные планы человека, его мечты и пожелания зависят от хода мировых событий. Мое пожелание, чтобы военный разгром фашизма завершился суровым и справедливым возмездием всем палачам и злодеям. Чтобы идеи агрессии, расовой нетерпимости, идеологии фашизма были окончательно изжиты как в сознании отдельных людей, так и в политической жизни, чтобы мир надолго посетил землю, чтобы великие научные открытия нашей эпохи служили освобождению человека, его власти над природой, а не господству человека над человеком. Если это осуществится, то, думаю, мне, все планы, мечты и пожелания миллионов людей, в том числе и мои, станут реальны и исполнение их будет зависеть от доброй воли и трудолюбия каждого из нас.

- 1 Текст публикуется по [Гроссман 1946: л. 129–130]. Подобные анкеты весной 1946 года, накануне первой годовщины Дня Победы, редакция Еврейского антифашистского комитета предложила заполнить ряду деятелей культуры, среди которых помимо Василия Гроссмана были Ольга Берггольц, Майя Плисецкая, Григорий Ярон, Давид Заславский. В паспорте статьи указано, что анкета поступила из отдела центральной Европы 18 апреля. Текст был переведен на несколько языков и 19 апреля направлен в Нью-Йорк, Тель-Авив, Торонто, Йоханнесбург [Гроссман 1946: л. 133], Париж [Гроссман 1946: л. 135], а 20 апреля – в Монтевидео, Мехико, Гавану и Рио-де-Жанейро [Гроссман 1946: л. 128] для публикации в периодических изданиях, подведомственных ЕАК.
- 2 О своем пребывании в Берлине В. Гроссман также написал в очерке «На рубеже войны и мира» [Гроссман 1989: 186–198] и в «Записных книжках» [Гроссман 1989: 451–457].
- 3 Речь о романе «За правое дело», который был задуман Гроссманом еще во время войны.

Литература

Агамбен Дж. Номо sacer. Что остается после Освенцима. Архив и свидетель / Перевод с итал. И. Левиной, О. Дубицкой, П. Соколова. М.: Европа, 2012.

Бубер М. Хасидские истории. Первые учителя / Перевод с англ. и нем. М. Хорькова, Е. Балагушкина. М.: Мосты культуры, 2006.

Волохова Ю. А. «Старый учитель» – забытая пьеса В. Гроссмана // Евреи России, Европы и Ближнего Востока: история, культура и словесность: Материалы междунар. науч. конф. 14 апреля 2019 г. СПб., 2019. С. 132–139. URL: <http://www.pijs.ru/f/pii-hist-2019.pdf> (дата обращения: 01.12.2019).

Гроссман В. Анкета. <1946> // ГАРФ. Р8114. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 128–131 об., 133–138 об.

Гроссман В. Памяти восстания в Варшавском гетто. <1948> // ГАРФ. Р8114. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 255–261.

Гроссман В. Годы войны. М.: Правда, 1989.

Деттмер Т. Физик Лев Штрум. Неизвестный герой знаменитого романа // Радио «Свобода». 2018. 30 сентября. URL: <https://www.svoboda.org/a/29512819.html> (дата обращения: 01.12.2019).

Докладная записка агитпропа ЦК А. А. Жданову по вопросу издания «Черной книги». <1947> // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 438. Л. 221.

URL: <https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69319> (дата обращения: 01.12.2019).

Липкин С. И. Сталинград Василия Гроссмана. Michigan: Ann Arbor, 1986.

Львов К. Хорошие новости из лагеря. Василий Гроссман о советском народе // Радио «Свобода». 2018. 9 июля. URL: <https://www.svoboda.org/a/29307936.html> (дата обращения: 01.12.2019).

Примо Л. Канувшие и спасенные / Перевод с итал. Е. Б. Дмитриевой. М.: Новое издательство, 2010.

Янкель В. Год в Трешлинке: Воспоминания / Перевод с польск. Казачкова // РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 1. Ед. хр. 136.

Encyclopedia of Holocaust literature / Ed. by D. Patterson, A. L. Berger and S. Cargas. Westport, CT: Oryx Press, 2002.

Felman S., Laub D. *Testimony: Crises of witnessing in literature, psychoanalysis and history*. New York: Taylor & Francis, 1992.

Rosenfeld A. *A double dying: Reflections on Holocaust literature*. Bloomington: Indiana U. P., 1980.

References

A report of Central Committee Department for Agitation and Propaganda to A. A. Zhdanov on the publication of 'The Black Book' ['Chernaya kniga']. (1947). [report] Russian State Archive of Socio-Political History, Fond 17, inv. 125, file 438, sheet 221. Moscow, Russia. Available at: <https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69319> [Accessed 1 Dec. 2019]. (In Russ.)

Agamben, G. (2012). *Homo sacer. Remnants of Auschwitz: The witness and the archive*. Translated by I. Levina, O. Dubitskaya and P. Sokolov. Moscow: Evropa. (In Russ.)

Buber, M. (2006). *Tales of the Hasidim: The early masters*. Translated M. Khorkov and E. Balagushkin. Moscow: Mosty kultury. (In Russ.)

Dettmer, T. (2018). Lev Strum, a physicist. An unknown hero of a famous novel. *Radio Svoboda*, [online] 30 Sept. Available at: <https://www.svoboda.org/a/29512819.html> [Accessed 1 Dec. 2019]. (In Russ.)

Felman, S. and Laub, D. (1992). *Testimony: Crises of witnessing in literature, psychoanalysis and history*. New York: Taylor & Francis.

Grossman, V. (1946). *Questionnaire*. [questionnaire] State Archive of the Russian Federation, R8114, inv. 1, item 81, sheets 128-131 verso, 133-138 verso. Moscow, Russia. (In Russ.)

Grossman, V. (1948). *In memory of the Warsaw Ghetto Uprising*. [essay] State Archive of the Russian Federation, R8114, inv. 1, item 101, sheets 255-261. Moscow, Russia. (In Russ.)

Grossman, V. (1989). *The war years* [*Gody voyny*]. Moscow: Pravda. (In Russ.)

Lipkin, S. (1986). *Vasily Grossman's Stalingrad*. Michigan: Ann Arbor. (In Russ.)

Lvov, K. (2018). Good news from the labour camp. Vasily Grossman on Soviet people. *Radio Svoboda*, [online] 9 July. Available at: <https://www.svoboda.org/a/29307936.html> [Accessed 1 Dec. 2019]. (In Russ.)

Patterson, D., Berger, A. and Cargas, S., eds. (2002). *Encyclopedia of Holocaust literature*. Westport, CT: Oryx Press.

Primo, L. (2010). *The drowned and the saved*. Translated by E. Dmitrieva. Moscow: Novoe izdatelstvo. (In Russ.)

Rosenfeld, A. (1980). *A double dying: Reflections on Holocaust literature*. Bloomington: Indiana U. P.

Volokhova, Y. (2019). 'The Old Teacher' ['Staryi uchitel'] – the forgotten work of V. Grossman. In: *The Jews of Russia, Europe, and Middle East: History, culture, and literature. Proceedings of an international conference. 14 Apr. 2019*. [online] St. Petersburg, pp. 132-139. Available at: <http://www.pijs.ru/f/pii-hist-2019.pdf> [Accessed 1 Dec. 2019]. (In Russ.)

Yankel, W. [n. d.] *A year in Treblinka: Reminiscences*. Translated by Kazachkov. [reminiscences] Russian State Archive of Literature and Arts, Fond 1710, inv. 1, item 136. Moscow, Russia. (In Russ.)

DOI: 10.31425/0042-8795-2020-2-27-43

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ И НАУЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ ЖЕРЕБИН

доктор филологических наук

Российский государственный педагогический
университет имени А. И. Герцена

(191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,

наб. реки Мойки, д. 48;

email: kafedrazar-lit@yandex.ru)

Аннотация. Содержание и история осмысления оппозиции «национальная литература — мировая литература» раскрывается в статье с опорой на диалектику герменевтического круга, изначально связанную с идеей мировой литературы в общем контексте классико-романтической утопии эстетического гуманизма.

Ключевые слова: герменевтика, классико-романтическая утопия, конвергентное сознание, литературная коммуникация, мировая литература, миф, мистическое, полифония.

Статья поступила 04.08.2019.

© 2020, А. И. Жеребин

DOI: 10.31425/0042-8795-2020-2-27-43

WORLD LITERATURE AS A HERMENEUTIC UTOPIA AND A SCHOLARLY REALITY

ALEKSEY I. ZHEREBIN

Doctor of Philology

Herzen State Pedagogical University of Russia

(48 Reki Moiki Emb., St. Petersburg, 191186, Russian Federation;

email: kafedrazar-lit@yandex.ru)

Abstract: In its interpretation of the opposition ‘national literature – world literature’ as defined by Goethe in 1827 the article relies on the dialectic of the hermeneutic circle, related to Goethe’s idea in the general context of the Classical-Romantic utopia of aesthetic humanism. Analyzing Goethe’s statements about world literature, one finds that his tentative concept did not suggest universal surrender of national-specific differences, but rather integration of national literatures (with all of their unique features) as relatively autonomous but mutually conditioned elements of a single literary communication supersystem. According to Goethe, each national literature established itself by involvement in the developing existence of a whole, without losing its identity to an amorphous composite of literatures. By fully preserving its individuality, it in fact joined in a special polyphonic order: a unity of diversity and interpenetration. Goethe, therefore, laid the foundations of a new philological discourse, which gave rise to comparative literary studies as a new scholarly discipline.

Keywords: hermeneutics, a Classical-Romantic utopia, convergent thinking, literary communication, world literature, a myth, the mystical, polyphony.

The article was received on 4 Aug. 2019.

© 2020, A. I. Zherebin

В повседневно-бытовой речи под «всемирной литературой» подразумевается либо совокупность всех литератур мира (*universal literature*), либо международный литературный канон (*world literature*). Критериями канонизации ограниченных групп текстов выступают их непреходящая эстетическая ценность, социальная репрезентативность, наличие трансисторической и транснациональной рецепции. Иное определение мировой литературы созревало с конца XIX века в академической науке. Роль *fondateur de discoursivité* [Foucault 1994: 804–807] принадлежит в этом отношении А. Веселовскому.

Мировая литература впервые осмысливается им как предмет исторической поэтики, то есть как объект, сконструированный научной мыслью на основе сравнительно-исторического изучения разноязычных текстов, анализа семантических и функциональных сдвигов, которые происходят с ними в чужих культурных контекстах при перемещении их через границу того или иного культурного пространства. «Историческая поэтика», задуманная Веселовским как «поэтика мировой литературы» [Шайтанов 2018: 29], представляла собой своего рода перформативный акт создания самого предмета исследования. «Всеобщая литература» означает у Веселовского не канон избранных произведений, не простую сумму взаимодействующих национальных литератур, а «историческое целое высшего порядка, развивающееся как единый закономерный процесс» [Жирмунский 1979b: 157].

Именно научный подход к истории «всемирной литературы» дает основание для того, чтобы обратить внимание на очевидную связь ее проблематики с понятием герменевтического круга, описывающего соотношение целого и его частей. Современная герменевтика, восходящая к Фридриху Шлейермахеру [Schleiermacher 1993], зарождается в те же годы, когда Гёте формулирует оппозицию «национальная литература — мировая литература»¹ [Eckermann 1982: 198], вводя в немецкий язык не один, а сразу два неологизма [Lamping 2010: 58]. Один из них обозначает часть, другой — целое, и отношение между ними мыслится Гёте как отношение взаимообусловленности, полярности: уничтожение одного полюса влечет за собой уничтожение другого.

Герменевтика учит, что «целое надлежит понимать на основании отдельного, а отдельное — на основании целого» [Gadamer 1986: 57]. Это основное правило герменевтического «активного

¹ Здесь и далее перевод с немецкого мой. — А. Ж.

понимания», о котором писали после Шлейермахера и Дильтей, и Хайдеггер, и Гадамер. Отдельное, то есть в нашем случае «национальные литературы», определяет целое — литературу как сверхнациональное единство высшего порядка и, в свою очередь, этим целым, причастностью к нему, определяется. Движение понимания постоянно переходит от целого к части и от части к целому, и критерий правильности понимания — их взаимосогласие, означающее прорыв круга. Но, по существу, круг непреодолим и вечен, выход из него никогда не окончателен, почти иллюзорен. Если результатом детального исследования каждой из частей становится необходимость переоценки первоначального представления о смысле целого, а смысл целого, обновляясь, заставляет все снова и снова возвращаться к исследованию частей в новой перспективе, то перед нами бесконечность, граничащая с утопией, — утопией всемирной литературы, а в более широком плане и эстетической гармонии мироздания.

Герменевтический подход предполагает деконструкцию двух оппозиций. Первая — на уровне синхронии: литература «своя», написанная на родном языке интерпретатора, и все «чужие», иностранные. С точки зрения герменевтики, «свое» и «чужое» взаимообусловлены как органы одного организма, и все, что происходит в одном органе, невозможно понять иначе чем как отклик на процессы, происходящие в других. Вторая оппозиция — на уровне диахронии: литература моей эпохи, современная, и литература прошлого, история литературы. Герменевтика мыслит современность как звено истории, а историческую традицию как постоянно присутствующую в современности, как ее неперемное условие и живой источник. В обоих случаях перед нами семиотический субъект и объект, «я» и «не-я». Существование и взаимодействие субъекта и объекта, рассматриваем ли мы их на уровне синхронии или диахронии, обеспечено тем «третьим», в которое они включены как части в целое.

Может быть, самый общий признак герменевтики во всех ее исторических вариантах заключается в том, что она всегда исходила из принципа когерентности целого и древнего убеждения в превосходстве — эстетическом и этическом — целого над частью. У Оригена, основателя библейской филологии и так называемой «hermeneutica sacra», читаем: «Когда в Писании ты встречаешь такие выражения, как множество, разделенность, разрыв, диссонанс и тому подобные, это всегда обозначает что-то дурное, и, напротив, когда речь заходит о единстве и единомыслии, это всегда что-то хорошее» (цит. по:

[Assmann 2015: 312]). Ориген делает это замечание по поводу библейского мифа о вавилонском столпотворении. Но идеал цельности сохранял свое значение в эстетике на протяжении веков — в том числе в эстетике эпохи модернизма и авангарда. Не исключено, что попытку постмодерна «позитивировать» трагический образ Вавилона, возвести его в символ постапокалиптической свободы и культурной нормы следует считать актом отчаяния — того отчаяния, которое Фауст испытывает перед лицом всех частных наук и искусств, поскольку они не способны привести к познанию целого. Нам всегда будет интересна не Гётерогенность сама по себе, а сложно устроенный интегральный смысл «Вавилонской библиотеки», которая существует «ad aeterno» и содержит «все, что поддается выражению — на всех языках» [Борхес 1997: 344].

Как учение о презумпции целостности, герменевтика изначально претендовала на статус интердисциплинарной метатеории. Организм всемирной литературы может быть назван и семиосферой, в которой различные субструктуры не могут существовать и работать без опоры друг на друга [Лотман 1992: 20]. Ю. Лотман охотнее всего пользуется словом «механизм», но, ссылаясь на Вернадского, представителя русского биокосмизма, замечает в статье 1984 года «О семиосфере», что «части семиотического пространства входят в целое не как механические детали, а как органы в организм» [Лотман 1992: 17]. В той же статье встречаем забавное сравнение в духе старинных гастрономических метафор, которыми издавна пестрит многовековой теоретический дискурс о литературе: «Подобно тому, как, склеивая отдельные бифштексы, мы не получим теленка, но, разрезая теленка, можем получить бифштексы, так, суммируя частные семиотические акты, мы не получим семиотического универсума. Напротив, только существование такого универсума — семиосферы — делает определенный знаковый акт реальностью» [Лотман 1992: 13].

В традиции философской мысли XX века принцип целого, на котором герменевтика сходится с семиотикой, представлен, в частности, русской метафизикой всеединства. Излагая в 1927 году идею русской соборности, С. Франк формулирует сущность мировоззрения, которое он называет русской «мы-философией»:

«Мы» мыслится не как внешний, лишь позднее образовавшийся синтез, объединение нескольких «я» или «я» и «ты», а как их первичное, неразложимое единство, из лона которого изначально произрастает «я»

и благодаря которому оно только и становится возможным <...> Каждое «я» не только содержится в «мы», с ним связано, к нему относится, но можно сказать, что и в каждом «я» внутренне содержится, со своей стороны, «мы», так как оно как раз и является последней опорой, глубочайшим корнем и живым носителем «я». Короче говоря, «мы» есть такое конкретное целое, в котором не только могут существовать его части, неотделимые от него, но которое и само внутренне пронизывает каждую часть и в каждой наличествует полностью. Речь здесь идет о последовательно продуманном органическом мировоззрении в области духовной жизни. Однако «я» в своем своеобразии и свободе тем самым не отрицается. Напротив, оно только из связи с целым и получает это своеобразие и свободу, можно сказать, напитывается жизненными соками из сверхиндивидуальной общности человечества. Если воспользоваться сравнением, идущим от Плотина, «я» подобно листу на дереве, который внешне не соприкасается с другими листьями или соприкасается лишь случайно, но внутренне, через соединение ветвей и сучьев с общим корнем, связан, следовательно, со всеми остальными листьями и ведет с ними общую жизнь. Здесь отрицается лишь независимость и отдельность разных «я» друг от друга, их самодостаточность и замкнутость. Это, так сказать, «мы-философия», в противоположность «я-философии» Запада [Frank 1926: 23–24].

В заключение этого пассажа Франк замечает, что органическое мировоззрение, если рассматривать его применительно к социально-политической реальности, не совпадает ни с коллективизмом, ни с индивидуализмом, ни с тоталитарным общественным строем, установившимся в большевистской России, ни с либеральной идеологией Запада.

Содержание «мы-философии» Франка представляет интерес потому, что может быть полностью спроецировано на теорию мировой литературы: достаточно на место изолированного «я» поставить слова «национальная литература», а на место «мы-общества» литературу всемирную. Примечательна метафора кровеносной системы, которой Франк пользуется в той же статье, переходя к русскому пониманию церкви:

Церковь здесь понимается в первоначальном смысле; она — не институт, который удерживает верующих авторитетом и духовным принуждением, а живое, внутреннее единство всех верующих, так сказать, божественная кровь, которая циркулирует во всех них и через них [Frank 1926: 25].